

ДЕТСТВО ТЁМЫ

НЕУДАЧНЫЙ ДЕНЬ

Маленький, восьмилетний Тёма стоял над сломанным цветком и с ужасом вдумывался в безвыходность своего положения.

Всего несколько минут тому назад, как он, проснувшись, напился чаю, причём съел с аппетитом два куска хлеба с маслом, — одним словом, добросовестным образом исполнив все лежавшие на нём обязанности, вышел через террасу в сад в самом весёлом, беззаботном расположении духа. В саду так хорошо было!

Он шёл по аккуратно расчищенным дорожкам сада, вдыхая в себя свежесть начинающегося летнего утра, и с наслаждением осматривался.

Вдруг... Его сердце от радости и наслаждения сильно забилось... Любимый папин цветок, над которым он столько возился, наконец расцвёл! Ещё вчера папа внимательно его осматривал и сказал, что раньше недели не будет цвести. И что это за роскошный, что это за прелестный цветок! Никогда никто, конечно, подобного не видал. Папа говорит, что когда герр¹ Готлиб (главный садовник ботанического сада) увидит, то у него слюнки потекут. Но самое большое счастье во всём этом, конечно, то, что не кто другой, а именно он, Тёма, первый увидел, что цветок расцвёл. Он вбежит в столовую и крикнет во всё горло:

— Махровый расцвёл!

¹ Герр (*нем.*) — господин; обращение к мужчине.

Папа бросит чай и с чубуком в руках, в своём военном вицмундире сейчас же пройдёт в сад. Он, Тёма, будет бежать впереди и беспрестанно оглядываться: радуется ли папа?

Папа, наверное, сейчас же поедет к герру Готлибу — может, прикажет запрячь Гнедка, которого только что привели из деревни. Еремей (кучер, он же и дворник), высокий, одноглазый, добродушный и ленивый хохол, — Еремей говорит, что Гнедко бегаёт так быстро, что ни одна лошадь в городе его не догонит. Еремей, конечно, знает это: он каждый день ездит на Гнедке верхом на водопой. И вот сегодня в первый раз запрягут Гнедка, побежит скоро-скоро! Все погонятся за ним — куда! Гнедка и след простыл.

А вдруг папа и Тёму возьмёт с собой? Какое счастье! Восторг переполняет маленькое сердце Тёмы. От мысли, что всё это счастье произошло от этого чудного, так неожиданно распустившегося цветка, в Тёме просыпается нежное чувство к цветку.

— Ми-и-ленький! — говорит он, приседая на корточки, и тянется к нему губами.

Его поза самая неудобная и неустойчивая. Он теряет равновесие, протягивает руки и...

Всё погибло! Боже мой, но как же это случилось?! Может быть, можно поправить? Ведь это случилось оттого, что он не удержался, упал. Если б он немножко вот сюда упёрся рукой, цветок остался бы целым. Ведь это одно мгновение, одна секунда... Пойдите!.. Но время не стоит. Тёма чувствует, что его точно кружит что-то, что-то точно вырывает у него то, что хотел бы он удержать, и уносит на своих крыльях — уносит совершившийся факт, оставляя Тёму одного с ужасным сознанием непоправимости этого совершившегося факта.

Какой резкой, острой чертой, какой страшной, неумолимой, беспощадной силой оторвало его вдруг сразу от всего!

Что из того, что так весело поют птички, что сквозь густую листву пробивается солнце, играя на мягкой земле весёлыми светлыми пятнышками, что беззаботная мошка ползёт по лепестку, вот остановилась, надувается, выпускает свои крылышки и собирается лететь куда-то, навстречу нежному, ясному дню?

Что из того, что когда-нибудь будет опять сверкать такое же весёлое утро, которое он не испортит, как сегодня? Тогда будет другой мальчик, счастливый, умный, довольный. Чтоб добраться до этого другого, надо пройти бездну, разделяющую его от этого другого, надо пережить что-то страшное, ужасное. О, что бы он дал, чтобы всё вдруг остановилось, чтобы всегда было это свежее, яркое утро, чтобы папа и мама всегда спали... Боже мой, отчего он такой несчастный? Отчего над ним тяготеет какой-то вечный неумолимый рок? Отчего он всегда хочет так хорошо, а выходит всё так скверно и гадко?.. О, как сильно, как глубоко старается он заглянуть в себя, постигнуть причину этого. Он хочет её понять, он будет строг и беспристрастен к себе... Он действительно дурной мальчик. Он виноват, и он должен искупить свою вину. Он заслужил наказание, и пусть его накажут. Что же делать? И он знает причину, он нашёл её! Всеми виною его гадкие скверные руки! Ведь он не хотел, руки сделали, и всегда руки. И он придёт к отцу и прямо скажет ему:

— Папа, зачем тебе сердиться даром, я знаю теперь хорошо, кто виноват, — мои руки. Отруби мне их, и я всегда буду добрый, хороший мальчик. Потому что я люблю и тебя, и маму, и всех люблю, а руки мои делают так, что я как будто никого не люблю. Мне ни капли их не жалко.

Мальчику кажется, что его доводы так убедительны, так чистосердечны и ясны, что они должны подействовать.

Но цветок по-прежнему лежит на земле... Время идёт... Вот отец, встающий раньше матери, покажется, увидит, всё сразу поймёт, загадочно посмотрит на сына и, ни слова не говоря, возьмёт его за руку и поведёт... Поведёт, чтоб не разбудить мать, не через террасу, а через парадный ход, прямо в свой кабинет. Затворится большая дверь, и он останется с глазу на глаз с ним.

Ах, какой он страшный, какое нехорошее у него лицо... И зачем он молчит, не говорит ничего?! Зачем он расстёгивает свой мундир?! Какой противный этот жёлтенький узенький ремешок, который виднеется в складке синих штанов его. Тёма стоит и, точно очарованный, впился в этот ремешок. Зачем же он стоит? Он свободен, его никто не держит, он может убежать... Никуда он не убежит. Он будет мучительно-тоскливо ждать. Отец не спеша снимет этот гадкий ремешок, сложит вдвое, посмотрит на сына; лицо отца нальётся кровью, и почувствует, бесконечно сильно почувствует мальчик, что самый близкий ему человек может быть страшным и чужим, что к человеку, которого он должен и хотел бы только любить до обожания, он может питать и ненависть, и страх, и животный ужас, когда прикоснутся к его щекам мягкие, тёплые ляжки отца, в которых зажмётся голова мальчика.

Маленький Тёма, бледный, с широко раскрытыми глазами, стоял перед сломанным цветком, и все муки, весь ужас предстоящего возмездия ярко рисовались в его голове. Все его способности сосредоточились теперь на том, чтобы найти выход, выход во что бы то ни стало. Какой-то шорох послышался ему по направлению от террасы. Быстро, прежде чем что-нибудь сообразить, нога мальчика

решительно ступает на грядку, он хватается за цветок и втискивает его в землю рядом с корнем. Для чего? Смутная надежда обмануть? Протянуть время, пока проснётся мать, объяснить ей, как всё это случилось, и тем отвлечь предстоящую грозу? Ничего ясного не соображает Тёма; он опрометью, точно его преследуют все те ведьмы и волшебники, о которых рассказывает ему по вечерам няня, убегает от злополучного места, минуя страшную теперь для него террасу, — террасу, где вдруг он может увидеть грозную фигуру отца, который, конечно, по одному его виду сейчас же поймёт, в чём дело.

Он бежит, и ноги бессознательно направляют его подалее от опасности. Он видит между деревьями большую площадку, посреди которой устроены качели и гимнастика и где возвышается высокий, выкрашенный зелёной краской столб для гигантских шагов, видит сестёр, бонну-немку. Он делает вольт в сторону, незаметно пригнувшись, торопливо пробирается в виноградник, огибает большой каменный сарай, выходящий в сад своими глухими стенами, перелезает ограду, отделяющую сад от двора, и наконец благополучно достигает кухни.

Здесь он только свободно вздыхает.

В закоптелой, обширной, но низкой кухне, устроенной в подвальном этаже, освещённой сверху маленькими окнами, всё спокойно, всё идёт своим чередом.

Повар, в грязном белом фартуке, белокурый, ленивый, молодой, из бывших крепостных, Аким лениво собирается разводить плиту. Ему не хочется приниматься за скучную ежедневную работу, он тянет, хлопает дверцами печки, заглядывает в духовой ящик, внимательно осматривает, точно в первый раз видит, конфорки, фыркает, брюзжит, двадцать раз их то сдвигает, то опять ставит на место...

На большом некрашеном столе в беспорядке валяются грязные тарелки. Горничная Таня, молодая девушка с длинной, ещё нечёсаной косой, торопливо обглаживает какую-то вчерашнюю холодную кость. Еремей в углу молча возится с концами упряжных ремней, бесконечно налаживая и пригоняя конец к концу, собираясь сшивать их приготовленными шилом и дратвой. Его жена, Настасья, толстая и грязная судомойка, громко и сердито перемывает тарелки, энергично хватая их со дна дымящейся тёплой лоханки. Вытертые тарелки с шумом летят на рядом стоящую скамью. Рукава Настасьи засучены; здоровое белое тело на руках трясётся при всяком её движении, губы плотно сжаты, глаза сосредоточены и мечут искры.

Ровесник Тёмы — произведение Настасьи и Еремея — толстопузый рябой Иоська сидит на кровати, болтает ногами и пристаёт к матери, чтобы та дала ему грошик.

— Не дам, не дам, сто чертив твоей мамой! — кричит отчаянно Настасья и ещё плотнее стискивает свои губы, ещё энергичнее сверкает глазами.

— Г-е?! — тянет Иоська плаксивую монотонную ноту. — Дай грошик.

— Отчипысь, прокляте! Будь ты сказано! — кричит Настасья, точно её режут.

Тёма с завистью смотрит на эти простые, несложные отношения. Вот она, кажется, и кричит и бранится, а не боится её Иоська. Если мать и побить его захочет, — а Иоська отлично знает, когда она этого захочет, — он, вырвавшись, убежит во двор. Если мать и бросится за ним и, не догнав, станет кричать своим громким голосом, так кричать, что живот её то и дело будет подпрыгивать кверху: «Ходи сюда, бисова дытына!» — то «бисова дытына» понимает, что ходить не следует, потому что его побьют, а так как ему именно этого и не хочет-

ся, то он и не идёт, но и не скрывается, инстинктивно сознавая, что очень раздражать не следует. Стоит Иоська где-нибудь поодаль и хнычет, лениво и притворно, а сам зорко следит за всяким движением матери; ноги у него расставлены, сам наклонился вперёд, вот-вот готов дать нового стрекача.

Мать постоит, постоит, ещё сто чертей посулит себе и уйдёт в кухню. Иоська фланирует, развлекается, шалит, но голод заставляет его наконец возвратиться в кухню. Подойдёт к двери и пустит пробный шар:

— Г-е?!

Это нечто среднее между нахальным требованием и просьбой о помиловании, между хныканьем и криком.

— Только взойды, бодай тебе чертяка взяла! — несётся из кухни.

— Г-е?! — настойчивее и смелее повторяет Иоська.

Кончается всё это тем, что дверь с шумом растворяется, Иоська с быстротой ветра улепётывает подалее, на пороге появляется грозная мать с первым попавшимся поленом в руках, которое и летит вдогонку за блудным сыном.

Дело уже Иоськи увернуться от полена, но после этого путь к столу с объедками барской еды считается свободным. Иоська сразу сбрасывает свой скромный облик и с видом делового человека, которому некогда тратить время на пустые формальности, прямо и смело направляется к столу.

Если по дороге он всё-таки получал иной раз лёгкую затрещину — он за этим не гнался и, огрызнувшись каким-нибудь упрямым звуком вроде «у-у!», энергично принимался за еду.

— Иеремей, Буланку закладывай! — кричит сверху нянька. — В дрожки!

— Кто едет? — кричит снизу встрепенувшийся Тёма.

— Папа и мама в город.

Это целое событие.

— Скоро едут? — спрашивает Тёма.

— Одеваются.

Тёма соображает, что отец торопится, значит, перед отъездом в сад не пойдёт, и, следовательно, до возвращения родителей он свободен от всяких взысканий. Он чувствует мгновенный подъём духа и вдохновенно кричит:

— Иоська, игратья!

Он выбегает снова в сад и теперь смело и уверенно направляется к сёстрам.

— Будем игратья! — кричит он подбегая. — В индейцев?

И Тёма от избытка чувств делает быстрый прыжок перед сёстрами.

Пока бонна и сёстры, под предводительством старшей сестры Зины, обсуждают его предложение, он уже рыщет, отыскивая подходящий материал для луков. Бежать к изгороди слишком далеко, хочется скорей, сейчас... Тёма выхватывает несколько прутьев, почему-то торчавших из бочки, пробует их гибкость, но они ломаются, не годятся.

— Тёма! — раздаётся дружный вопль.

Тёма замирает на мгновение.

— Это папины лозы! Что ты сделал?!

Но Тёма уже всё и без этого сообразил; у него вихрем мелькает сознание необходимости потянуть время до отъезда, и он небрежно кричит:

— Знаю, знаю, папа приказал их выбросить — они не годятся!

И для большей убедительности он подбирает поломанные лозы и с помощью Иоськи несёт их на чёрный двор. Зина подозрительно провожает его глазами, но

Тёма искусно играет свою роль — идёт тихо, не спеша, вплоть до самой калитки. Но за калиткой он быстро бросает лозы; отчаяние охватывает его. Он стремительно бежит, бежит от мрачных мыслей тяжёлой развязки, от туч, неизвестно откуда скопляющихся над его горизонтом. Одно с мучительной ясностью стоит в голове: поскорее бы отец и мать уезжали.

Еремей с озабоченным видом стоит около дрожек, нерешительно чешет спину, мрачно смотрит на невымытый экипаж, на засохшую грязь и окончательно теряется от мысли, что теперь делать: начинать ли мыть, подмазывать ли или уж так запрягать? Тёма волнуется, хлопочет, тащит хомут, понуждает Еремея выводить лошадь, и Еремей под таким энергичным давлением начинает наконец запрягать.

— Не так, панычику, не так! — громко замечает флегматичный Еремей, тяготясь этой суетливой, бурной помощью.

Тёме кажется, что время идёт невыносимо медленно. Наконец экипаж готов.

Еремей надевает свой кучерской парусиновый кафтан с громадным сальным пятном на животе, клеёнчатую, с поломанными полями шляпу, садится на козлы, трогает, задевает обязательно за ворота, отделяющие грязный двор от чистого, и подкатывает к крыльцу.

Время бесконечно тянется. Отчего они не выходят? Вдруг не поедут?! Тёма переживает мучительные минуты. Но вот парадные двери отворяются, выходят отец с матерью.

Отец, седой, хмурый по обыкновению, в белом кителе, что-то озабоченно соображает; мать в кринолине¹, чёрных нитяных перчатках без пальцев, в шляпе с широкими

¹ Кринолин — широкая юбка на тонких стальных обручах, бывшая в моде в середине XIX века.

чёрными лентами. Сёстры бегут из сада. Мать наскоро крестит и целует их и спохватывается о Тёме; сёстры ищут его глазами, но Тёма с Иоськой притаились за углом, и сёстры говорят матери, что Тёма в саду.

— Будьте с ним ласковы.

Тёма, благоразумно решивший было не показываться, стремительно выскакивает из засады и стремительно бросается к матери. Если бы не отец, он сейчас бы ей всё рассказал. Но он только особенно горячо целует её.

— Ну, довольно! — говорит ласково мать и смутно соображает, что совесть Тёмы не совсем чиста.

Но мысль о забытых ключах отвлекает её.

— Ключи, ключи! — говорит она, и все стремительно бросаются в комнаты за ключами.

Отец пренебрежительно косится на ласки сына и думает, что это воспитание выработает в конце концов из его сына какую-то противную слюнявку. Он срывает своё раздражение на Еремее.

— Буланка опять закована на правую переднюю ногу? — говорит он.

Еремей перегибается с козел и внимательно всматривается в отставленную ногу Буланки.

Тёма озабоченно следит за ними глазами. Еремей прокашливается и говорит каким-то поперхнувшимся голосом:

— Мабуть, оступився.

Ложь возмущает и бесит отца.

— Болван! — говорит он, точно выстреливает из ружья.

Еремей энергично откашливается, ёрзает на козлах и молчит. Тёма не понимает, за что отец бранит Еремее, и тоскливое чувство охватывает его.

— Размазня, лентяй! Грязь развёл такую, что сесть нельзя!

Тёма быстро окидывает взглядом экипаж.

Еремей невозмутимо молчит. Тёма видит, что Еремею нечего сказать, что отец прав, и, облегчённо вздыхая, чувствует удовлетворение за отца.

Ключи принесли; мать и отец сидят в экипаже, Еремей подобрал вожжи, Настасья стоит у ворот.

— Трогай! — приказывает отец.

Мать крестит детей и говорит: «Тёма, не шали», и экипаж торжественно выкатывается на улицу. Когда же он исчезает из глаз, Тёма вдруг ощущает такой прилив радости, что ему хочется выкинуть что-нибудь такое, чтобы все, все — и сёстры, и бонна, и Настасья, и Иоська — так и ахнули. Он стоит, несколько мгновений ищет в уме чего-нибудь подходящего и ничего другого не может придумать, как, стремглав выбежав на улицу, перерезать дорогу какому-то несущемуся экипажу. Раздаётся общий отчаянный вопль:

— Тёма, Тёма, куда?!

— Тёма-а! — несётся пронзительный крик бонны и достигает чуткого уха матери.

Из облака пыли вдруг раздаётся голос матери, сразу всё понявшей:

— Тёма, домой!

Тёма, успевший пробежать до половины дороги, останавливается, зажимает обеими руками рот, на мгновение замирает на месте, затем стремглав возвращается назад.

— А хочешь, я на Гнедке верхом поеду, как Еремей? — мелькает в голове Тёмы новая идея, с которой он обращается к Зине.

— Ну да! Тебя Гнедко сбросит! — говорит пренебрежительно Зина.

Этого совершенно достаточно, чтобы у Тёмы явилось непреодолимое желание привести в исполнение свой

план. Его сердце усиленно бьётся и замирает от мысли, как поразятся все, когда увидят его верхом на Гнедке, и, выждав момент, он лихорадочно шепчет что-то Иоське. Они оба незаметно исчезают.

Препятствий нет.

В опустелой конюшне раздаётся ленивая, громкая еда Гнедка. Тёма дрожащими руками торопливо отвязывает повод. Красивый жеребец Гнедко пренебрежительно обнюхивает маленькую фигурку и нехотя плетётся за тянущим его изо всей силы Тёмой.

— Но, но! — возбуждённо понукает его Тёма, стараясь губами делать, как Еремей, когда тот выводит лошадь.

Но от этого звука лошадь путается, фыркает, задирает голову и не хочет выходить из низких дверей конюшни.

— Иоська, подгони её сзади! — кричит Тёма.

Иоська лезет между ног лошади, но в это время Тёма кричит ему:

— Возьми кнут!

Получив удар, Гнедко стрелой вылетает из конюшни и едва не вырывается из рук Тёмы.

Тёма замечает, что Гнедко от удара кнутом взял сразу в галоп, и приказывает Иоське, когда он сядет, снова ударить лошадь.

Иоське одно удовольствие лишний раз хлестнуть лошадь.

Гнедко торжественно выводится с чёрного на чистый двор и подтягивается к близстоящей водовозной бочке. В последний момент к Иоське возвращается благоразумие.

— Упадёте, панычику! — нерешительно говорит он.

— Ничего, — отвечает Тёма с пересохшим от волнения горлом. — Ты только, как я сяду, крепко ударь её, чтоб она сразу в галоп пошла. Тогда легко сидеть.

Тёма, стоя на бочке, подбирает поводья, опирается руками на холку Гнедка и легко вспрыгивает ему на спину.

— Дети, смотрите! — кричит он, захлёбываясь от удовольствия.

— Ай, ай, смотрите! — в ужасе взвизгивают сёстры, бросаясь к ограде.

— Бей! — командует, не помня себя от восторга, Тёма.

Иоська изо всей силы вытягивает кнутом жеребца. Лошадь, как ужаленная, мгновенно подбирается и делает первый произвольный скачок к улице, куда мордой она была поставлена, но затем, сообразив, она взвизывается на дыбы, круто на задних ногах делает поворот и полным карьером несётся назад, в конюшню.

Тёме, каким-то чудом удержавшемуся при этом манёвре, некогда рассуждать. Перед ним ворота чёрного двора; он вовремя успевает наклонить голову, чтобы не разбить её о перекладину, и вихрем влетает на чёрный двор.

Здесь ужас его положения обрисовывается ему с неумолимой ясностью.

Он видит в десяти саженьях перед собой высокую каменную стену конюшни и маленькую тёмную отворённую дверь и сознаёт, что разобьётся о стену, если лошадь влетит в конюшню. Инстинкт самосохранения удесятяряет его силы, он натягивает, как может, левый повод, лошадь сворачивает с прямого пути, налетает на торчащее дышло, спотыкается, падает с маху на землю, а Тёма летит дальше и расплывается у самой стены, на мягкой, тёплой куче навоза. Лошадь вскакивает и влетает в конюшню. Тёма тоже вскакивает, запирает за нею дверь и оглядывается.

Теперь, когда всё благополучно миновало, ему хочется плакать, но он видит в воротах бонну, сестёр и соображает по их вытянувшимся лицам, что они всё видели. Он